**К вопросу о культе Пушкина на Руси: беглые заметки**

Михаил Безродный

Вопрос, не есть ли Пушкин новый русский святой, возник в конце прошлого века у простонародья, c недоумением наблюдавшего за размахом почестей, воздаваемых поэту: «Что же это, святой что-ли новый? Почему назначен к нему на могилу господский съезд?»1; «За что же ему, святой он, что ли?»2.

Автор монографии, посвященной рецепции Пушкина в России, отвечает на этот вопрос утвердительно и в главе «The Elevation of Pushkin to Sainthood» пишет: «The phrase "the sun of our poetry" <...> conjured up the lives of Russian princely saints. When Aleksandr Nevskii had died, for example, the Metropolitan Kiril told the people, "My dear children, you should know that the sun of the Suzdalian land has set" <...>. Similarly, the widow of Dmitrii Donskoi bewailed his passing with the words, "O my Sun, thou hast set too early" <...>. Odoevskii's use of a hagiographic trope in connection with Pushkin's death signaled that the poet was to be viewed as a saintly sufferer, a strastoterpets»3. Эта мысль заслуживала бы внимания, будь уподобление покойника закатившемуся солнцу именно агиографическим, а не вообще фольклорным и литературным тропом, и будь названные князья канонизированы именно как страстотерпцы. Произвольность последнего допущения, похоже, исследователя смущает, так что он предлагает другую параллель: «I would like to suggest that the model for poeticizing Pushkin's duel was "The Martyrdom of Boris and Gleb"»4 - каковое наблюдение впечатляет скорее смелостью, чем меткостью. Произвольным представляется и главный тезис исследователя - о том, что русские видят в Пушкине страстотерпца5, т.е. мученика, претерпевшего страдание во имя Христово и беззлобно принявшего кончину от рук единоверцев.

«К началу ХХ в., - пишет другой ученый, - можно утверждать, сформировалась народная версия национального культурного мифа о Пушкине. Специфика ее до сих пор не прояснена и не осознана наукой»6. Комизм этого простодушного признания (народная версия, разумеется, существует, причем почти век, а вот в чем она состоит, увы, неясно) отражает растерянность перед объектом, понятым как целое. Впрочем, нельзя не воздать должное стремлению расчленить загадочный объект и описать отдельные его части. Так, на основе анализа материалов, добытых в 1897-1980 гг. путем опроса крестьян, был сделан вывод о существовании в народном сознании трех версий пушкинского образа: героическая личность, святой и демонологический персонаж7. Приводимые примеры, однако, упорно сопротивляются такой систематизации, да и объем их явно недостаточен для сколько-нибудь серьезных обобщений8. Примечательно, наконец, что ряд привлеченных к анализу записей говорит не столько о мужичках-богоносцах, сколько о господах-богоискателях. Так, крестьянский рассказ о бане в Тригорском - «Приезжие с городов все смотрели ту баню. <...> От бани щепочки отламывали, в платочек завернут и везут - память Пушкина»9 - свидетельствует, конечно, не о народном, а об интеллигентском почитании реликвий (в канун столетия смерти поэта).

По ознакомлении с такого рода записями и исследованиями можно с уверенностью сказать лишь, что в конце 19 - начале 20 в. наблюдались факты знакомства крестьян с именем, сочинениями и биографией поэта и что его образ иногда, действительно, наделялся чертами сверхъестественными, однако не обладал такой устойчивостью и популярностью, чтобы имело смысл сопоставлять его, скажем, с Ильею-пророком или лешим. Еще и в 1920-е гг. имя Пушкина - к смущению краведа - ничего не говорило даже крестьянам, жительствующим в пушкинских местах10. Иначе обстояло дело в городах: уже в 1880 г. имя поэта было достаточно известным, чтобы быть присвоенным водке, папиросам и другим товарам повышенного спроса11. Записи 1920-х гг. свидетельствуют об относительно стабильном бытовании в московских низах историй о Пушкине12. И здесь поэт порою предстает фигурой исключительной, но все же не сакральной и не демонической.

Рост массовой известности пушкинского имени сопровождался, похоже, не его почитанием, а превращением в нарицательное. Уже в конце 19 в. для грамотного простонародья слово «пушкин» служит обозначением литератора вообще. Вплоть до настоящего времени широко демонстрируется следующий фокус: предлагается отреагировать первой ассоциацией на понятия «поэт», «фрукт», «часть лица» - и после того, как ответы прозвучали, предъявляется заранее составленный список: «пушкин», «яблоко», «нос» - все ответы оказываются предугаданы13. Процесс превращения в апеллятив, однако, зашел еще дальше: имя Пушкин сделалось аналогом понятия "кто-то другой, а не ты"14 (в оборотах типа «А платить кто будет, Пушкин?»15), т.е. изофункциональным анонимному «дяде», обреченному за всех отдуваться (ср.: «А уроки за тебя дядя будет делать?»).

Итак, формула «священное для всех русских имя Пушкина» обнаруживает свою неполную состоятельность: квантор общности делает это высказывание неистинным. «Съезд на пушкинскую могилу» был и, по-видимому, остается исключительно «господским» занятием. Размышлять о причинах, то и дело побуждающих культурную элиту объявлять свои вкусы общенародными, скучно да и нет нужды. Занимательнее обсудить некоторые типовые механизмы «господской» канонизации Пушкина. Начнем с простейшего. В книге «Смысл творчества» Бердяев, указывая на факт принадлежности двух современников - Пушкина и Серафима Саровского - к «разным бытиям», рассуждает: не лучше ли было бы «для целей Промысла Божьего», если бы вместо одного святого и одного гения у нас было бы два святых: «святой Серафим в губернии Тамбовской и святой Александр в губернии Псковской»? Нет, не лучше, заявляет Бердяев (от лица Промысла Божьего), ведь «гениальность Пушкина <...> перед Богом равна святости Серафима <...> Гениальность есть иной религиозный путь, равноценный и равнодостойный пути святости»16. Булгаков в юбилейной речи 1937 г. сокрушается: «...Как мог он не слыхать о преподобном Серафиме, своем великом современнике? Как не встретились два солнца России?», но приходит к успокоительному выводу: «Очевидно, не на путях исторического, бытового и даже мистического православия пролегала основная магистраль его жизни, судьбы его. Ему был свойствен свой личный путь и особый удел, - предстояние пред Богом в служении поэта»17. Иначе говоря, постулируется наличие еще одного, в дополнение к историческому, бытовому и мистическому, типа православия - надо полагать, светского. Пользуясь тою же диалектикой, Карташев в юбилейной речи скажет о «светском евангелии», «светской библии народов» и «светской канонизации»18.

Таков ход рассуждений, предложенный глашатаями нового религиозного сознания. Новейшее религиозное сознание двинулось по этому пути не обинуясь. Понимание святости как заслуги перед народом побудило в 1998 г. нижегородского губернатора выступить с предложением: по случаю 200-летия Пушкина причесть его к лику православных святых. (Патриарх, однако, не поддержал это ходатайство, и комиссия патриархии по канонизации любезно сообщила журналистам, что кандидатура Пушкина не отвечает предъявляемым требованиям19.) Наметилась, наконец, тенденция и к новому пониманию святости - как наследственного задатка или признака: в 1998 г. свет увидел монументальный труд «Тысячелетнее древо Пушкина: Корни и крона: Книга генеалогических этюдов...», на каковом древе, нарядном, как рождественская елка, в числе родственников и свойственников поэта представлено сорок православных святых.

Сознание эстетическое, не удовлетворяясь перспективами светской канонизации Пушкина, обожествляет его. Если в обыденной речи пушкинское имя становится апеллятивом, то в поэтической оно нередко табуируется. Первым был, вероятно, Жуковский («Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе...»), однако в полной мере этот прием осваивается в 20 в. - возможно, под влиянием символистской практики табуирования сакральных имен. Поэтическая пушкиниана тяготеет к структуре загадки: субститутом имени поэта зачастую выступает местоимение «он», которое при этом выделено своей начальной или финальной позицией в тексте. В простейших из загадок имя, неупоминаемое в тексте, присутствует в заглавии: «Дорога Пушкина» Ростовского, «Смерть Пушкина» Сирина, «К портрету Пушкина» Твардовского, «Памятник юноше Пушкину» Рождественского и др. Изысканней выглядит вынесение в заглавие не антропонима, а топонима («В Царском Селе» Ахматовой) или хрононима («29 января 1837 - 1937 гг.» Милич, «27 мая <правильно: 26 мая. - М.Б.> 1836» Ходасевича, «1837» Булич). Всего же затейливее загадки, отгадки которых спрятаны в тексте: «Льстец» Шенгели, «Поэту» Ладинского, «Имя» и «Бессмертие» Антокольского, «"O, если правда, что в ночи..."» Адамовича, «Я родился в Москве. Я дыма...» Ходасевича, «У памятника» Маршака и др. Роль подсказки при этом выполняют штрихи пушкинского портрета, обрывки цитат и биографические реминисценции, как правило, связанные с дуэлью20. Наиболее рельефно структура и модальность загадки явлены в виршах Колосовского: «Он был великий дворянин / И прославился здесь на весь свет, / Как Пожарский и Минин, / Также и истинный поэт. / Конечно, он известный вам, / Это был Пушкин сам!».

В прозе прием табуирования имени используется тоже (такова, например, первая часть рассказа Антокольского «Второе Болдино»), хотя, естественно, реже. Что же до сочинений драматических, то здесь, как известно, в ход идет табуирование иного рода - упоминание некоего лица без появления его на сцене. Тем самым профанное ожидание - приговора ли невидимой княгини Марьи Алексевны, прибытия ли Подлинного Ревизора и Godot - возвышается до священного трепета перед «коемуждо по делом его». Усилению статуса внесценического персонажа на свой лад способствовала российская цензура. Изображать христианских святых на сцене не допускалось, из-за чего, например, «Чудо святого Антония» шло в Театре Коммиссаржевской под названием «Чудо странника Антония». А мистерию К.Р. «Царь Иудейский» запретили к постановке и несмотря на то, что главный ее герой показан не был. Принято считать, что, сочиняя пьесу «Александр Пушкин», Булгаков позаимствовал у К.Р. эту идею. Гипотеза о влиянии представляется необязательной (почему - станет ясно из дальнейшего изложения), но, как бы то ни было, сделав Пушкина внесценическим персонажем (точнее, лишенным реплик и показанным мельком), Булгаков сакрализовал этот образ и последовал цензурному предписанию, утратившему силу в эпоху воинствующего атеизма.

«Was entbloesst die Anatomie des Kultes deutlicher als die gegen ihn gerichteten Schlaege?»21. Попробуем проанализировать известный пассаж из манифеста футуристов: «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности. Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней». Сбрасывание с парохода современности - жест, повторяющий свержение Перунова кумира в Днепр, а призыв забыть свою первую любовь - отрицание тезиса «Тебя ж, как первую любовь, / России сердце не забудет!..», который восходит к Откр. 2: 4. Иначе говоря, футуристы расправляются с Пушкиным как с божеством гетерогенным - вместе языческим и христианским22.

Недавно было выдвинуто предположение, что строки «Перекличка парохода / С пароходом вдалеке» в стихотворении «Пушкинскому Дому» отражают реакцию Блока на футуристский призыв «бросить Пушкина с парохода современности», о каковом призыве Блок вспомнил ввиду возобновившихся атак на Пушкина23. Наблюдение это само по себе, может быть, и не слишком удачно (футуристскую формулу Блок вспоминал в 1921 г. не со словом «пароход», а со словом «корабль»), однако в нем верно схвачена такая особенность блоковского стихотворения, как мнимость пейзажного реализма. Текст «Пушкинскому Дому» строится не столько на реалиях (невская навигация начиналась, разумеется, не со «звонами ледохода»), сколько на символах: Медный Всадник, Площадь Сената, Сфинкс. О символическом потенциале первых двух говорить нечего; что же касается Сфинкса, то к перечисленным коннотациям этого образа24 хотелось бы подключить - в связи с мотивами «загадочности» и «африканскости» Пушкина - футуристский тезис о «гиероглифичности» («Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов»), образ «мумии» из обращения Маяковского к Памятнику и, наконец, клише пушкинской «солнечности».

Уподобление Пушкина солнцу в 20 в. становится ритуальным: «Кому - быть солнцем. Имя - Пушкин» (Бальмонт); «Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!» (Северянин); «Ты гений, солнце, Царь-поэт!» (Арский); «Солнце Поэзии Русской - взошло!» (Нелидова-Фивейская и Голохвастов); «В стране, где кровью преступлений / Весь облик прошлого залит, / Лишь твой великий, светлый гений / Сквозь сумрак тягостных мгновений / Еще сияет и горит» (Троцкая) и др. Эта метафора реактивируется в стихах Мандельштама («Сияло солнце Александра», «И вчерашнее солнце на черных носилках несут») и в речах 1921 г., противопоставляющих Пушкина силам мрака: Блок говорил о «сумрачных именах» исторических деятелей, Ходасевич - о «затмениях пушкинского солнца».

Финал речи Ходасевича - «мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке» - как известно, наследует блоковским (из «Пушкинскому Дому») мотивам: ухода «в ночную тьму» и обращения к Пушкину как к заступнику («Дай нам руку в непогоду»). Эти мотивы, в свою очередь, вероятно, представляют собою ответ на стихотворение Мережковского «Дети ночи», в котором тем же четырехстопным хореем и от лица «мы» сообщалось: «Устремляя наши очи / На бледнеющий восток, / Дети скорби, дети ночи, / Ждем, придет ли наш пророк», а в финале этот пророк именовался солнцем: «Дети мрака, солнца ждем». Речь идет о солнце «Третьего Завета». Этим солнцем в поэтическом завещании Блока оказывается Пушкин. Если посещение Пушкинского Дома в 1916 г. оставило у Блока ощущение «мудрости, холода и пустоты государственности»25, то в 1921 г. он увидит в этом учреждении последний оплот культуры, храм светоносного бога и заступника26.

В заключение стоит привести пример, демонстрирующий совместимость описанных механизмов обожествления поэта. Речь идет о пьесе Боцяновского «Натали Пушкина», вышедшей отдельным изданием в 1912 г. в Петербурге и тогда же поставленной. Пьеса имеет подзаголовок «Жрица Солнца»: в таком наряде Наталья Пушкина появляется в начале пьесы на маскараде. Любопытно и то, что сам Пушкин на сцене показан лишь однажды и без реплик27.

Примечания

1 Цит. по.: Анненкова А.А. Отражение личности А.С. Пушкина в народном сознании // Пушкин и современная культура. М., 1996. С. 185.

2 Цит. по: Мейлах Б.С. Пушкин в восприятии и сознании дореволюционного крестьянства // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1967. Т. 5. С. 107.

3 Debreczeny P. Social Functions of Literature: Alexander Pushkin and Russian Culture. Stanford, 1997. P. 224.

4 Ibid. P. 227.

5 Впрочем, современные западные сведения об этой категории православной святости, кажется, вообще отмечены некоторой приблизительностью; так, в недавно вышедшем справочнике сообщается, что страстотерпцы «czеsto koесycie w klasztorze» (Romaczuk Sz. Страстотерптство <sic! - М.Б.> // Mentalno rosyjska. Katowice, 1995. S. 93).

6 Возвращение в мир молвы («Барышня-крестьянка» в народных пересказах) / Публ. О.Р. Николаева // Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1995. С. 297.

7 Анненкова А.А. Указ. соч.

8 Отчего, вероятно, в качестве источников привлечены «записи» Шергина и Гейченко, дающие вместе до четверти всех примеров.

9 Анненкова А.А. Указ. соч. С. 190.

10 Там же. С. 185.

11 См.: Михайлова Н.И. «Шоколад русских поэтов - Пушкин» // Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1995. С. 293-294.

12 См.: Московские легенды о писателях / Записи Е.З. Баранова; вступ. ст., подгот. текста и примеч. В.Боковой // Лица: Биографический альманах. М.; СПб., 1994. Вып. 4. С. 288-338.

13 Существование пушкинского имени в качестве и собственного, и нарицательного, а также явления, возникающие в силу этого двойного статуса, - все это достойно отдельного обсуждения. Здесь хотелось бы обратить внимание лишь на практику подыскивания соименных («соморфемных») Пушкину объектов массового культа. Cм., напр., посвященную юбилею Аллы Пугачевой заметку «Пу...- наше все!» (Итоги. 20.04.1999) или ироническое признание «Так кто / Ваш любимый поэт / Пушкин / и Винни-Пух» (Некрасов В. Стихи из журнала. М., 1989. С. 36.), а также развитие последнего мотива в «Пушкининане» Гецевича: «Пушкин - справа / Пушкин - слева / А народную тропу / проторил Некрасов Сева / прямо к памятнику Пу» (Новое литературное обозрение. 1994. № 6. С. 188).

14 Неточным представляется толкование "неизвестно, кто; бог его знает, кто" (Елистратов В.С. Словарь московского арго. М., 1994. С. 387).

15 Первый известный нам случай фиксации этого оборота - кинофильм «Веселые ребята» (1934).

16 Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 391-392.

17 Лик Пушкина: Речи, читанные на торжественном заседании Богословского института в Париже. Paris, 1938. С.14-15.

18 Там же. С. 31, 36, 37.

19 См.: Перекресток России. 31.07.1998; Дело. 31.07-6.08.1998; Время. 8.08.1998. Надо сказать, что православная церковь ведет себя в этом вопросе весьма последовательно. Так, когда в прошлом году ликеро-водочное предприятие «Псковалко» вознамерилось выпустить водки «Александр Невский», «Довмонт» и «Пушкин», то первые два названия вызвали возражения Псковской епархии (см: Сегодня. 27.12.1998). По имеющимся данным, эти возражения не были учтены.

20 Последний мотив, к слову сказать, особо ценим - иногда как способ введения темы стигматизации; при этом готовность почувствовать себя мишенью Дантеса переживается не только текстуально («Мне кажется, он целится в меня...» - Доризо; «Комсомольцу кажется сквозь сон, / Что стоит у Черной речки он» - Светлов), но и биографически (дуэль Волошина и Гумилева состоялась у Черной речки, а дуэль Анисимова и Пастернака была назначена на 29 января).

21 Stammloser M. Erscheinungsformen des Kultes: Einfuehrung in eine hermeneutische Betrachtungsweise der Problematik. Zieghorn, s.a. Bd. 1. S. 957.

22 «Двоеверием» отмечены и современные пушкинские культы, о чем свидетельствуют примеры, приводимые в кн.: Эпштейн М.Н. Новое сектантство: Типы религиозно-философских умонастроений в России (70-80 гг. ХХ в.). [М.], 1994.

23 Лекманов О. «Перекличка парохода с пароходом вдалеке» (К вопросу о литературной эволюции). Работа известна нам в рукописи.

24 См.: Ронен О. «Россия - Сфинкс» // Новое литературное обозрение. 1996. № 17. С. 420-431.

25 Блок А. Записные книжки. 1901-1920. М., 1965. С. 305.

26 Замысленный как «литературный мавзолей» (Временник Пушкинского Дома. 1913. С. XVII), Пушкинский Дом со временем превратится в нечто вроде высшего законодательного органа в вопросах вероучения и религиозной практики и примется осуществлять государственный контроль за отправлением культа Пушкина, следя за чистотою обоих первоисточников - Писания и Предания, устанавливая каноны текстологии и границы толкования. Но это будет потом, а в 1921 г. Пушкинский Дом воспринимается Блоком не как Синод, а как анти-Синод. Стихотворение заканчивается строками «С белой площади Сената / Тихо кланяюсь ему». Это значит, что говорящий стоит лицом к Пушкинскому Дому (находившемуся тогда на Университетской наб., 5), т.е., собственно, отвернувшись от здания Синода.

27 В отсутствии Пушкина на сцене один из критиков усмотрел проявление авторского такта (Биржевые ведомости. 9.10.1912), другой - результат цензурного запрета (Русское слово. 9.10.1912). Пользуемся случаем выразить признательность Марине Бобрик и Алле Лапидус за ценные консультации.